

Федор Успенский

«Кашцев кот» Осипа Мандельштама
в эпистолярном контексте

Памяти Ю. И. Левина

Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов.

О. Мандельштам «Шум времени»

Любое высказывание поэта о собственном стихотворении обладает для исследователя ценностью несомненной, превышающей, на наш взгляд, все возможные комментарии современников и потомков. Однако когда речь заходит о наследии О. Э. Мандельштама, такая пара — стихотворение + авторская ремарка — в совокупности дает нередко не меньший простор для догадок, чем произведение, никак автором не объясненное. В настоящей заметке мы хотели бы проиллюстрировать на конкретном примере если не оба эти утверждения, то хотя бы последнее из них, и предложить возможный ответ на вопрос, чем именно обусловлена непрозрачность мандельштамовской характеристики своего текста, характеристики, призванной, казалось бы, раскрыть, а отнюдь не затемнить его замысел.

На исходе 1936 г. Осип Эмильевич Мандельштам написал стихотворение «Оттого все неудачи...», известное также под названием «Кашцев кот» или «Кашей»:

© Fedor Uspenskii. 2010. Автор благодарен за критические замечания и плодотворное обсуждение работы К. В. Елисееву, А. К. Жолковскому, А. Ф. Литвиной, Б. А. Успенскому и Ю. Л. Фрейдину.

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоех спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих,
Шароватых искр пиры.¹

Поэт незамедлительно отправил эти стихи Н. С. Тихонову, сопроводив их письмом следующего содержания:

31. XII. 36 г. С Новым годом! Уважаемый Николай Семенович!

Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них Кащеев Кот². В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы «щ» и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота. Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался, учился у него и смело с ним боролся.

Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение! Стишок мой в числе других когда-

¹ О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах / Сост.: С. Василенко, П. Нерлер, А. Никитаев, Ю. Фрейдин. Т. III. М., 1993. С. 106. http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_3/01versus/01versus/3_133.htm

² Наряду с «Кащеевым котом» Н. С. Тихонову было послано стихотворение «Как подарок запоздалый / Ощутима мной зима...», анализ которого не входит в задачи нашего исследования.

нибудь напечатают, и он будет принадлежать народу советской страны, перед которым я в бесконечном долгу. Вам, делегату VIII-го съезда (я слышал по радио Ваше прекрасное мужественное приветствие съезду) я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу, что люди, что деревья — толк один. Я буквально физически погибаю. Чего я жду от Вас? Добейтесь до разрешения общего вопроса, что может затянуться, — немедленной конкретной помощи — не частной — ну ее к черту — но скромной организованной советской поддержки. Имейте в виду, что служить я не могу, потому что стал не в шутку инвалидом. Не могу также переводить, потому что очень ослабел, и даже работа над своим стихом, которую я не могу отложить, стоит мне многих припадков.

Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от неприкрытого нищенства. Телеграфируйте мне о получении этого письма, примите самые решительные меры, потому что нет имени тому, что происходит со мной в Воронеже. Дальше так продолжаться не может.³

Это краткое послание сразу по нескольким причинам важно не только биографу Мандельштама, но и тому, кто занимается поэтикой его произведений. Перед нами как будто бы своеобразная декларация скрытого изобразительного потенциала стихотворного слова, способности поэта исподволь творить стихом зримые и осязаемые объекты («В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы «щ» и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота»), способность, которую можно обозначить как поэтическую иконичность⁴.

³ О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Т. IV. М., 1999. С. 173. http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_4/01letters/4_209.htm

⁴ См. подробнее: Ф. Б. Успенский. Заметки об иконическом у Пастернака и Мандельштама // Универсалии русской литературы. Сборник статей / Отв. ред. А. А. Фаустов. Воронеж, 2009. С. 508—517; Он же. Об отдельных

В самом деле, у Мандельштама мы обнаруживаем целый ряд примеров, когда в описание зрительного или акустического явления интегрированы элементы, позволяющие ощутить называемое почти физически. Такого рода явления, не сводимые, как правило, к простой звукописи или ритмическим изменениям стиха, принадлежат к числу нестандартных, штучных или окказиональных поэтических событий, которые не разрастаются до масштабов тиражируемого литературного приема, они лежат на грани сознательного и бессознательного восприятия, читательского и исследовательского подхода к тексту. Их не всегда легко выследить, и при этом всегда есть риск разглядеть это окказиональное средство там, где его нет. Поэтому-то особенно важны, как кажется, те случаи, когда автор напрямую признается в способности добиваться невербального эффекта вербальными средствами.

Сложность, однако, заключается в том, что высказывание Мандельштама о созданном им материальном предмете допускает разные возможности прочтения. Мы вынуждены признать свое комментаторское бессилие в попытках объяснить, почему именно буква «щ» и еще кое-что могут явить нам кусок золота, как эти средства связаны с его физическим воплощением. Действительно ли мы имеем дело с гимном иконичности или перед нами попросту оценка посылаемого произведения, как бы приравнивающая его к золотому слитку? Или же поэт имел в виду здесь нечто совсем иное?

Быть может, столь мощная суггестивность, которую Мандельштам приписывает букве «щ», связана с еще одной особенностью этого краткого послания. Содержание записки, ее стиль, графико-фонетический и синтаксический строй позволяют думать, что она в определенной своей части адресована не только и не столько Тихонову, но является не чем иным как репликой в многовековой полемике русских

случаях неявной иконичности в русской литературе // Сборник в честь Вяч. Вс. Иванова. М., в печати.

Об иконичности в структуре поэтического текста см. А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. Работы по поэтике выразительности. М., 1996. С. 77—92.

поэтов о звуковых и изобразительных возможностях русского языка.

Именно так следует понимать, по-видимому, внезапную смену стилистических регистров в письме, неожиданное обращение автора деловой записки к торжественному языку и риторике трактата. Обратим внимание, к примеру, на характерное оттягивание сказуемых на последнюю позицию во фразе и постпозитивность прилагательного в предложении «Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался, учился у него и смело с ним боролся». Порядок слов — одно из скромных, но безотказно действующих средств архаизирующей стилизации, приобщающее это высказывание к старинным литературным сентенциям и отсылающее к эпохе начала лингвистических споров, середине XVIII столетия⁵.

При этом складывается впечатление, что апелляция Мандельштама к ранним пластам истории русского литературного языка, если она и в самом деле имеет место, это скорее контраргумент в полемике с более традиционными для

⁵ Ср., например, хрестоматийные рассуждения М. В. Ломоносова: «Карль пятый Римскій Императоръ говариваль, что Ишпанскимъ языкомъ съ Богомъ, Францусскимъ съ друзьями, Нѣмецкимъ съ непріятельми, Италіянскимъ съ женскимъ поломъ говорить прилично. Но естли бы онъ Россійскому языку былъ искусень; то конечно къ тому присовокупилъ бы, что имъ со всѣми оними говорить пристойно. Ибо нашель бы въ немъ: великолѣпіе Ишпанскаго, живость Французскаго, крѣпость Нѣмецкаго, нѣжность Италіянскаго сверхъ того богатство и сильную въ изображеніяхъ краткость Греческаго и Латинскаго языка» (Российская грамматика Михайла Ломносова. СПб., 1755. С. 6—7.

<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1966>

«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово не могло быть приведено в такое совершенство, каковому в других удивляемся» (М. В. Ломоносов. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки // М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950—1983. Т. VII: Труды по филологии 1739—1758 гг. М.; Л., 1952. С. 92. <http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/lo7-0892.htm>

него оппонентами и союзниками, стихотворцами XIX в. С кем же спорит поэт, чье мнение и оценки побудили его высказаться в столь торжественном и риторически выстроенном ключе в письме, основное содержание которого составляют просьбы о заступничестве, сетования на быт и невыносимость воронежского существования?

Едва ли мы ошибемся, предположив, что за высказыванием Мандельштама о своем стихотворении и о богатых возможностях русского языка просматривается знаменитая жалоба К. Н. Батюшкова (в письме Н. И. Гнедичу) на фонетическую грубость родной речи:

Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенець, пахнет татарщиной. Что за ы? что за щ? что за ш, шій, щій, при, тры? О варвары! А писатели? Но Бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго чѣдъ слово, то блаженство.⁶

Это письмо от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. в том или ином виде могло быть известно Мандельштаму из разных источников: во-первых, он мог знать его непосредственно по публикации П. Н. Батюшкова, Л. Н. Майкова и В. И. Саитова; во-вторых, как отмечают М. Котова и О. Лекманов, фрагмент батюшковского высказывания с большой вероятностью должен был попасться ему на глаза в книге К. И. Чуковского «Некрасов»⁷. Так или иначе, но Мандельштаму, по наблюдениям исследователей, случалось и прежде обыгрывать ба-

⁶ Сочинения К. Н. Батюшкова. Т. III, СПб., 1886. С. 164—165.
<http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps3/ps32155-.htm>

⁷ М. Котова, О. Лекманов. Из тотального комментария к «Египетской марке»: Крещатик. <http://www.ruthenia.ru/document/548135.html>

тюшковское противопоставление итальянской нежности и русской грубости, причем символом последней оказываются звуки *-ы* и *-щ*. В «Египетской марке» (1927 г.), говоря о визите итальянской оперной певицы Анджолины Бозио в Петербург (где ей суждено было умереть), он писал:

Защекочут ей маленькие уши: «Крещатик», «щастие» и «щавель». Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы».⁸

Совпадение в поэтических пристрастиях (Данте, Тассо, Ариост, Петрарка) и восхищение, которое вызывал у Мандельштама Батюшков, очевидны и несомненны, но отчего же тогда появляется в записке Тихонову архаическая тяжеловесность стиля, апеллирующая к совсем иному звуковому строю?

Как кажется, не будет преувеличением сказать, что Осип Мандельштам воспринял строки из письма Гнедичу как вызов (да они, по сути своей, и были вызовом, упрекающим русских писателей в недостаточно искусном обращении с языком — «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с нимъ немилосердно поступаютъ»⁹). В такой перспективе стихотворение «Кощеев кот» — это виртуозная демонстрация языковых возможностей именно с помощью тех самых средств, которые Батюшков объявил языковым изъяном¹⁰.

Замечательно при этом, что оба стихотворца мыслят, в сущности, в одних и тех же категориях: для Мандельштама,

⁸ О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Т. II. М., 1993. С. 467. http://www.rvb.ru/mandelstam/01text/vol_2/03prose/2_242.htm

⁹ Сочинения К. Н. Батюшкова. С. 164.

¹⁰ Шипящие (и звук *-щ* прежде всего) наиболее яркое из этих средств, но Мандельштам в своем стихотворении отчасти коллекционирует и другие фонетические приметы, ненавистные Батюшкову (*-ы*, *-пре*, *-тр*, а заодно и родственные им *-гры*, *-зра* и тому подобные). Любопытно, что в одном из авторских вариантов стихотворения таких неблагозвучных сочетаний больше — вместо «купец воды морской» возможно чтение «купец *травы* морской». См. выше, примеч. 1 к настоящей работе.

как и для Батюшкова, звук *-щ* исключительно выразителен и олицетворяет собой «неблагоразумие русской речи», он — воплощение патриархального начала, более того, признак дикости, агрессии, причем не только человеческой, но и звериной¹¹. Контроверза же этого литературного диалога состоит в том, что для Мандельштама в этой дикости и «татарщины» кроется огромный ресурс языковой энергии, которую

¹¹ Достаточно вспомнить, например, весь богатый ассоциативный ряд, который возникает у Мандельштама в связи с фигурой его учителя, В. В. Гиппиуса, чьим фонетическим атрибутом он провозглашает в «Шуме времени» (1923—1924 гг.) именно *шипящие* и *свистящие*: «Рывкнувший извозчика был В. В. Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку — литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота? <...> У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить. Прийти к В. В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку «Весов» или «Северные цветы» «Скорпиона», отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Коневского и Добролюбова — воинственных молодых монахов раннего символизма. <...> Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончаниях слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным. С легкой руки В. В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих «щ». «Надо мной орлы, орлы говорящие» <неточная цитата из стихотворения А. М. Добролюбова «Бог Отец». — Ф. У.>. Итак, мой учитель отдавал предпочтенье патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда В. В. вздумалось прочесть детям «Жарптицу» Фета — «На суку извилистом и чудном»: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей (Здесь уместно будет вспомнить о другом домочадце литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой сказывалась в особенностях произношения, — о Н. В. Недоброво. Язвительно-вежливый петербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, Недоброво появлялся всюду читать Тютчева, как бы представлять за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, с широко открытыми глазами, как бы записанная на серебряных пластинках, прояснялась

поэту следует отнюдь не избегать, а понимать, укрощать и использовать¹². Как кажется, именно такое обуздание языка он и имел в виду в своем письме и именно победу над ним с гордостью демонстрировал Тихонову («Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался, учился у него и смело с ним боролся. Как любой язык чтит борьбу с ним

на удивление, когда доходило до Тютчева, особенно до альпийских стихов: «А который год белеет» и — «А заря и ныне сеет». Тогда начинался настоящий разлив открытых «а»: казалось, отец только что прополоскал горло холодной альпийской водой» <примечание О. Э. Мандельштама. — Ф. У.>). <...> Неужели литература — медведь, сосущий свою лапу, — тяжелый сон после службы на кабинетной тахте? Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». <...> Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутивным неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. <...> В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В. В. Г.) злости. Власть оценок В. В. длится надо мной и по сейчас. <...> Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном некрахмальном воротничке беспокойны движения короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, kloкочущие звуки: воинственные «щ», «и», «г». Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа» (О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Т. II. С. 388—391. http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_2/03prose/2_214.htm).

На связь этого фрагмента из «Шума времени» с интересующим нас стихотворением «Оттого все неудачи...» обратил внимание и О. Ронен в своей статье Mandel'shtam's Kaščeř // Studies presented to Professor Roman Jakobson. Cambridge, Mass., 1968 (русский перевод с добавлениями: *Омри Ронен*. Из города Энн: Кашей // Звезда. 2007. № 9. <http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=839>).

Трудно сказать, насколько Мандельштам статистически объективен, приписывая ранним символистам особую склонность к шипящим, для нас существенно, что он сам слышал их именно так. В качестве иллюстрации, выявляющей у них такую шипящую ноту, можно привести, например, стихотворение И. Коневского «Ведь в куще каждой есть тайник...» (из «Мечты и думы», 1896—1899 гг.), в особенности две его финальные строчки:

поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение!»).

Означает ли сказанное, что упоминание куска золота в мандельштамовском прозаическом комментарии сводится исключительно к самооценке? Поэт принял вызов, брошенный более столетия назад, и отчетливо осознает, что с этой задачей справился. Несомненно, здесь мы сталкиваемся с чем-то вроде аналога знаменитого «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!», однако, на наш взгляд, дело этим отнюдь не ограничивается. По-видимому, не меньший удельный вес имеет и упоминание о способности творить словом материальные объекты, пресловутая иконичность также не обойдена вниманием поэта. Что же изображает буква «щ»?

Можно следовать буквальному указанию и считать, что подразумеваемый объект — это золото. Выше мы уже признались в своей неспособности догадаться почему. Возможно, правда, Мандельштам расслышал и многократно усилил некую традицию в русской поэзии, позволяющую соотносить золото с глухим звуковым рядом (шипящими, глухими аффрикатами и т. п.) (ср. пушкинское «Царь Кощей

«Но жив нетлеющий Кашей / И живы пращурьы мои!».

<http://lib.rus.ec/b/139214>

¹² Разумеется, в противопоставлении итальянского и «татарщины» есть немалая доля эмблематичности, причем эмблематичность эта устроена несколько асимметричным образом. Фонетические особенности татарского языка как таковые едва ли принимались Батюшковым во внимание, ясно, что в его письме речь идет об аллегории варварского, неевропейского начала в русской культуре. Что же касается языка итальянского, то языковое чутье поэта сфокусировано исключительно на его мелодичности, то обстоятельство, что часть варварских звуков, за которые он упрекает русский народ и его наречие, есть и у итальянцев, им попросту игнорируется. Не исключено, кроме того, что предмет его раздражения в русском — это не только фонетика, но отчасти и морфология. По всей видимости, Батюшкова отталкивают, в частности, причастия на *-ший*, *-щий*, формы, заметим, сугубо книжные, восходящие к церковнославянскому, которыми могли злоупотреблять поэты другого литературного лагеря. Во всяком случае, в своей ответной реплике Мандельштам прибегает к целому нагромождению такого рода эпитетов (ср., например, *леденящих*, *умоляющих*, *просящих* и т. п.).

над золотом чахнет»)¹³, и, соответственно, с точки зрения изобразительной, ассоциировать его с чем-то пресмыкающимся, ползучим, драконьим¹⁴. Однако самое наличие такой традиции на русской почве вызывает сомнение, и, что еще более существенно, какие бы то ни было драконы или змеи отсутствуют в стихотворении.

Рискуя впасть в грех сложного обоснования самоочевидного, предположим, что с помощью буквы (звука) *-щ* в стихотворении «Коцеев кот» материализуется и воплощается не кто иной как кот, который, будучи конечной точкой сложного символического ряда, не перестает быть оттого и вполне конкретным существом, т. е. зримым, слышимым и осязаемым образом, явленным в стихотворении. Вербальный уровень текста, в сущности, позволяет видеть только один-два элемента его облика — прежде всего, конечно, глаза — и притом в характерной для кошачьих замирающей статике. Шипящие же (и «еще кое-что») достраивают все остальное — это средства, позволяющие не только назвать и описать кота, но и дать слушателю возможность услышать его и увидеть¹⁵.

Возвращаясь на биографический уровень, можно привести рассказ Натальи Штемпель об обстоятельствах сочинения этого стихотворения, где есть довольно детальное описа-

¹³ Присутствие в «Кашеевом коте» пушкинских реминисценций как таковых сомнений не вызывает (см. подробнее: *Омри Ронен. Из города Энн: Кашей*).

¹⁴ Такое соображение возникло в ходе обсуждения данной работы у коллег-лингвистов. Очень соблазнительно, разумеется, было бы вспомнить в этой связи дракона Фафнира, охраняющего золото в древнегерманском цикле о Нибелунгах, а заодно и прочих, состоящих при золоте, ползучих хтонических существ. Однако та линия поэтической традиции, которую мы рассматриваем, (и, прежде всего само стихотворение Манделштама) сколько-нибудь явных отсылок к этому круту образов вроде бы не обнаруживает.

¹⁵ Похоже, что всяческие «неблагозвучные» *-пр, -тр, -зр* (в совокупности с более очевидным *-мур* в «зжмуренной») также обслуживают поэтику иконического, создавая фон кошачьего урчания, которое в данном случае трудно назвать умиротворенным мурлыканьем, поскольку уж слишком легко оно перемежается агрессивным фырканьем и шипением.

ние пресловутого источника неудач¹⁶. Разумеется, в нашу задачу никак не входит выявление меры сходства лирического героя и его бытового прототипа, однако наиболее очевидным кажется, что в стихотворении изображено животное с зелеными глазами, черного (приносящего, по примете, несчастье и неудачи) цвета. Интересующая нас звуковая палитра, в свою очередь, иконически связана с неукротимостью и инфернальностью шипящего зверя, характер и повадки которого должны быть видны сразу, несмотря на то, что он не совершает, казалось бы, никаких активных действий.

Таким образом, в мандельштамовской записке Тихонову происходит, по-видимому, своего рода смысловая компрессия, когда на коротком отрезке текста выражается сразу несколько идей и соображений, причем промежуточные риторические и смысловые конструкции, обеспечивающие прозрачность логических связей, с легкостью утрачиваются. То, что сам Мандельштам называл мышлением опущенными звеньями, как мы знаем, было присуще не только его стихам, но прозе и устной речи¹⁷. Иными словами, он одновременно

¹⁶ «...Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день... старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое. Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение: «Оттого все неудачи...» ...Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство» (Н. Е. Штемпель. Мандельштам в Воронеже // Новый мир. 1987. № 10. С. 224).

¹⁷ Сама эта характеристика — «Я мыслю опущенными звеньями» — возникла в связи с упреком в непонятности прозы, а именно — «Египетской марки» (Э. Герштейн. Мемуары. М., 1998. С. 19).

говорит о том, что в его стихотворении присутствует нечто большее, чем словесное описание объекта, и дает оценку посылаемому стихотворению как таковому: шипящий кот — это материальный объект, который создан в тексте, упоминание же золота, отчасти мотивированное строкой о «золоте гвоздей», связано со следующей (оценочной) смысловой единицей¹⁸, как бы «наползающей» на первую.

Собственно говоря, встретить подобная компрессия смысла в «полноценном» прозаическом тексте Мандельштама, она бы не вызвала ни удивления, ни особых сомнений. Неожиданным может показаться, скорее, ее появление в столь приземленном, на первый взгляд, письме, содержащем отчаянную мольбу о помощи и достаточно подробную инструкцию, что мог бы предпринять адресат. До историко-литературных ли здесь аллюзий и поэтических деклараций? Однако для Мандельштама эти аллюзии и манифестации со всей очевидностью были не культурной игрой, не утонченной маской, но живой тканью существования. Помимо всего прочего, поэту, как кажется, была предельно чужда та стыдливость интеллектуальной респектабельности, которая заставляет последовательно и искусственно разграничивать речь о возвышенном и разговор о материальных нуждах. Напротив, житейское отчаяние ощущается им как часть истории литературы, а многовековая литературная полемика — как элемент бытовой повседневности.

¹⁸ Как кажется, к этой, оценочной, стороне дела имеет отношение и устное высказывание, сохранившееся в памяти Н. Я. Мандельштам: «Посылая Тихонову «Кота», О. М. смеялся: «Ведь это золотой самородок — щиплет золото гвоздей» — я — нищий — посылаю ему кусок золота...» (Н. Я. Мандельштам. Третья книга. С. 387).